

ПЕРЕРАБОТКА, НАЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПЕРЕВОД

А. А. Долинина

ПЕРВЫЙ АРАБСКИЙ ПЕРЕВОД ДОСТОЕВСКОГО

Первый арабский перевод Достоевского появился в 1914 г.¹ Дата достаточно ранняя, если иметь в виду запоздалое развитие арабской литературы. Второе десятилетие XX в. даже для наиболее развитых арабских стран — это еще конец просветительской эпохи, когда назидательный роман во всех его разновидностях, нравоучительный, философский, исторический, сатирический, только начинает вытесняться романом сентиментальным, который впоследствии даст начало роману реалистическому.

Случилось так, что в Каире в один и тот же год увидели свет «Зейнаб» М. Х. Хайкаля, первый роман из жизни феллахов, повествующий о крестьянской девушке, выданной замуж против воли и вследствие этого умирающей от чахотки, и перевод первой части «Преступления и наказания». Не «Бедные люди», не «Униженные и оскорбленные», которые на первый взгляд были тогдашней публике ближе по проблематике, а такое трудное для восприятия произведение, как «Преступление и наказание».

Роман действительно оказался слишком сложным для тогдашних арабских читателей. Как вспоминает переводчик, издавший первую часть на собственные средства, книжка расходилась настолько плохо, что ему пришлось в конце концов распродать ее по одному миллиму² за экземпляр и отказаться от перевода остальных частей [5, с. 228].

Личность арабского переводчика достаточно примечательна. Это египтянин-копт Салама Муса (1887—1958), в будущем известный публицист, критик и философ, один из первых арабских социалистов и основателей египетской Социалистической партии [8, с. 231].

Обращение молодого Саламы Мусы к «Преступлению и наказанию» вряд ли было случайным. Формирование его мировоззрения и эстетических взглядов связано прежде всего с араб-

ской просветительской мыслью. В автобиографическом сочинении «Воспитание Саламы Мусы» он называет среди своих первых учителей трех видных египетских писателей и публицистов начала XX в.— Якуба Сарруфа, Фараха Антуна и Ахмеда Лутфи ас-Сейида [8, с. 234]. Через Якуба Сарруфа (1852—1927), редактора известного журнала «Ал-Муктатаф», активно популяризовавшего европейскую науку, С. Муса приблизился к теории Дарвина. Автор назидательно-философских романов и переводчик Фарах Антун (1874—1923) познакомил его с французской литературой и французской просветительской идеологией. От Лутфи ас-Сейида он воспринял, по его собственным словам, «одну очевидную истину, а именно то, что Египет должен принадлежать только египтянам, но не туркам и не англичанам» [8, с. 234].

Однако названными именами не ограничивается круг влияний, которые испытал на себе С. Муса. К моменту перевода «Преступления и наказания» он был европейски образованным человеком. В 1907—1911 гг. С. Муса учится в Париже, затем в Лондоне [5, с. 226], увлекается фабианским социализмом, читает «Капитал» К. Маркса; его любимыми писателями становятся Бернард Шоу, Герберт Уэллс и Генрик Ибсен. Ибсен поражает его критикой социальных устоев буржуазного общества, в частности положения женщины («Кукольный дом» [5, с. 229]). В творчестве Бернарда Шоу его привлекают смелость идей, социалистические устремления, умение соединить художническую, научную и публицистическую тенденции, пробудить мысль читателя [5, с. 230, 231]. В Уэллсе он ценит неприятие современного общества, устремленность в завтрашний день, полет фантазии [5, с. 233, 234].

Тогда же С. Муса знакомится с русской литературой, пользующейся большой популярностью в Англии: читает Горького, Л. Толстого, Достоевского, Андреева, посещает лекции и доклады, посвященные русским писателям [5, с. 227, 228]. Он вспоминает впоследствии, что именно раннее знакомство с русской литературой воспитало в нем «высокий уровень литературного вкуса» [7, с. 194].

Судя по всему дальнейшему творчеству С. Мусы, разнообразные европейские впечатления не были поверхностными: воспринятые в Лондоне новые идеи он продумал, пережил, прочувствовал, на их основе делал в дальнейшем собственные построения. Сохранил он и любовь к русским классикам, не раз писал о них; по его словам, в частности, «Братья Карамазовы» Достоевского вызывают в нем чувство благоговения [7, с. 88].

Все это объясняет возможность обращения С. Мусы к переводу «Преступления и наказания»: писатель в известной степени уже перерос свою просветительскую эпоху, Достоевский был ему более понятен и близок, чем большинству его арабских современников. Интересно, что он дает переводу подзаголовок

«Русский психологический роман, основанный на фактах». Свое понимание последнего термина С. Муса пояснит несколько позже в статье «Взгляд на русскую литературу»: «Русская литература также отличается стремлением к передаче фактов. Она ограничивается описанием события или случая, без разъяснений и выводов. Автор не поучает, не комментирует, не растолковывает, он лишь констатирует факты, а нарисованная им картина сама оказывает воздействие на ум читателя» [6, с. 50].

Иными словами, переводя «Преступление и наказание», С. Муса хотел, очевидно, ввести в арабскую литературу произведение, стоящее на более высокой ступени, чем привычный читателю назидательный роман. Надо думать при этом, что интерес С. Мусы именно к «Преступлению и наказанию», а не к другим романам Достоевского, связан еще с одним юношеским увлечением писателя — увлечением Ницше. О воздействии Ницше на его мировоззрение свидетельствуют названия самых первых опубликованных Мусой сочинений: «Ницше и сын человеческий» (1909) и «Теорема супермена» (1910). Прочсть эти произведения мне не удалось: автор никогда их не переиздавал. Очевидно, однако, что содержание их, в частности «Теоремы супермена», шире, чем просто изложение ницшеанских идей. З. И. Левин, ссылаясь на статью в египетском журнале «Аль-Хилал» (1966, № 7), говорит, что эта брошюра проникнута верой в возможности человеческого разума и энергии, содержит заметки о теории эволюции, общественном развитии и социализме [4, с. 238]. Сам С. Муса писал в 1947 г., что в этом произведении он видит «зачатки всех идей, которые занимают меня до сих пор» [5, с. 227], но беспощадно оценивает его как «незначительное», «незрелое», «сырое» [11, с. 25].

Среди арабских писателей С. Муса был не единственным поклонником Ницше: достаточно вспомнить крупнейшего ливанского романтика Дж. Х. Джебрана, все творчество которого во второй половине 10-х — начале 20-х годов прошло под знаком влияния Ницше, или духовного отца Саламы Мусы — Ф. Антуна, переводившего на арабский язык Заратустру и рассматривавшего ницшеанские идеи в ряде своих произведений («Мария перед покаянием», «На горе», Египет новый и Египет старый»).

Арабских мыслителей и политических деятелей просветительской эпохи, боровшихся против сложившейся в течение веков вялости ума и воли, привлекал в учении Ницше призыв к самоутверждению, активности, волевой деятельности: этот призыв связывался у них с борьбой за независимость. С. Муса, вспоминая, как он провел целую ночь за чтением Ницше, восхищенный его стилем и смелостью мысли, подчеркивал, что главным для него был именно этот энергичный импульс: «Ницше не шагает, не бежит, он идет на штурм» [5, с. 228]. «Этот

автор,— пишет он в другом месте,— был для меня символом жизни бойца» [7, с. 120].

В «Преступлении и наказании» тоже бой — бунт Раскольникова против общепринятой морали, стремление к безграничной свободе «необыкновенного» человека, а лелеемая Раскольниковым «наполеоновская идея», по меткому выражению М. С. Гуса, — «теоретическая веха на пути от Штирнера к Ницше» [1, с. 305].

Но ведь Достоевский развенчивает «наполеоновскую идею» во имя человечности. Могло ли это привлечь арабского нищенца?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратить внимание еще на одно позднее высказывание С. Мусы: «Когда я начинаю вновь углубляться в себя, я нахожу, что его (Ницше.— А. Д.) влияние на меня не было сильным или оно ограничивалось несколькими годами (разрядка моя.— А. Д.), несмотря на энтузиазм, с которым я штудировал его произведения и запоминал отдельные фразы» [5, с. 228].

Действительно, во всех последующих работах С. Мусы четко прослеживаются гуманистические взгляды. В частности, именно о Достоевском С. Муса скажет в 1947 г., что русский писатель научил его «думать сердцем и чувствовать умом», что его произведения «делают читателя человечным» [7, с. 122].

Таким образом, можно предположить, что решение перевести «Преступление и наказание» означало стремление С. Мусы отмежеваться от недавних заблуждений.

Но чтобы доказать это, необходим детальный анализ перевода, к чему мы сейчас и подходим.

С. Муса переводил роман с английского языка, и, по счастью, мне удалось установить его источник — иначе все рассуждения о качестве перевода повисали бы в воздухе. Сравнив три известных мне английских издания романа, вышедших до 1914 г., между собой, с арабским текстом и подлинником, я пришла к выводу, что С. Муса пользовался безымянным переводом 1911 г. [13], поскольку у него повторяется ряд расхождений с русским текстом, ошибок и неточностей именно этого английского перевода: например, возраст детей Катерины Ивановны не шесть, семь и девять лет (по Достоевскому), а четыре, пять и шесть. В качестве примера курьезного искажения текста приведем отрывок из главы II.

У Достоевского Мармеладов в распивочной рассказывает Раскольникову: «Супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила» [2, т. 6, с. 15].

В английском переводе: «My wife was brought up at an aristocratic boarding-school in the provinces, and that when she left she danced about in her shawl before the governor and other

officials, so great was her delight at obtaining the gold medal and a diploma».

В арабском переводе: «Супруга моя воспитывалась в аристократическом пансионе и, когда получила свидетельство и медаль, начала танцевать перед губернатором и чиновниками, радуясь своему успеху на экзамене» (с. 11).

В дальнейшем, говоря о расхождениях арабского текста с подлинником, я буду иметь в виду только те изменения, которые внес сам Салама Муса и которых в английском издании 1911 г. нет.

Прежде всего следует отметить, что в арабском переводе заметна тенденция к ослаблению социальных мотивов «идеи» Раскольникова.

Бедность Раскольникова и его семьи не только не подчеркивается, а, скорее наоборот, скрадывается. Вообще, бледнеет весь социальный фон романа. Исчезают из перевода детали обстановки угрюмой комнаты Раскольникова, опускается ряд характерных подробностей, воссоздающих облик мрачных трущоб Петербурга — сокращается описание квартала, в котором жил Раскольников, старухино дома, распивочной, где герой встретился с Мармеладовым, и т. п. Впрочем, здесь, возможно, играет роль насыщенность этих описаний специфически русскими реалиями, о которых переводчик имел весьма слабое представление и не смог бы найти им эквивалента.

Однако, когда речь заходит о положении матери Раскольникова и Дуни, становится ясным, что дело не только в русской специфике. Так, из размышлений Раскольникова в переводе исчезают некоторые указания на бедственное положение семьи:

«Что ж она, на кого же надеется: на сто двадцать рублей пенсiona, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет да нарукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям, это мне известно» [2, т. 6, с. 36—37].

«С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми аль с двумя „билетиками“...» [2, т. 6, с. 36].

Далее, предполагаемый брак Дуни с Лужиным в переводе оказывается не такой уж великой жертвой с ее стороны. Дело в том, что Петр Петрович Лужин, эта, по словам Д. И. Писарева, «ходячая квинтэссенция всей приличной и самодовольной пошлости» [9, с. 307], рисуется в переводе не такими мрачными красками, вернее, в глазах героев он выглядит не таким омерзительным. В частности, Пульхерии Александровне (в переводе) не кажутся чересчур резкими слова Лужина, что жена его Дуня — бесприданница и должна почитать мужа за своего благодетеля (с. 32). Если у Достоевского она пишет сыну, что, по словам Дуни, ее жених — человек «умный и, кажется, добрый»

[2, т. 6, с. 31], то в переводе пропадает слово «кажется», которое значит очень многое — оно не дает покоя Раскольникову: «Это *кажется* всего великолепнее! И эта же Дуничка за это же *кажется* замуж идет!.. Великопнее!..» [2, т. 6, с. 35].

Если бы Раскольников потом многократно не повторял, не подчеркивал это слово, можно было бы еще предположить, что переводчик опустил его случайно, не почувствовал оттенка. Но С. Муса опускает все дальнейшие рассуждения героя по этому поводу, все его язвительные замечания в адрес Лужина. Например, у Достоевского Раскольников со злой иронией говорит: «... господин Лужин ясен. Главное, „человек деловой и, *кажется*, добрый“» [2, т. 6, с. 36].

В переводе — реплика в серьезном тоне, без всякого осуждения: «Лужин — человек богатый, который боролся с жизнью, познал ее и обрел вкус к деньгам» (с. 39).

Так понемногу смягчается резко отрицательная характеристика Лужина, а тем самым умалется и цена Дуниного решения. «На Голгофу-то тяжело всходить», — говорит в романе об этом решении Раскольников [2, т. 6, с. 35]. В переводе же этих слов нет, ибо решение Дуни не воспринимается как готовность к мученичеству, хотя и сохранено недовольство Раскольникова тем, что ради него сестра выходит замуж за богатого.

Параллельно с затушевыванием социальных причин появления у героя «наполеоновской идеи» его характер обедняется психологически.

Прежде всего опущены некоторые детали, характеризующие любовь Раскольникова к матери и сестре. Раскольников в арабском переводе гораздо спокойнее реагирует на письмо матери, чем в описании Достоевского. В переводе опущены и прямое указание на впечатление, которое произвело на Раскольникова это письмо: «Письмо матери его измучило» [2, т. 6, с. 35], и такая характерная деталь: «он не хотел распечатывать» письмо при Настасье, «ему хотелось остаться *наедине* с этим письмом» [2, т. 6, с. 27].

По Достоевскому, «мечта» Раскольникова, еще не ставшая реальностью и фатально влекущая его к себе, кажется ему отвратительной и ужасной. В переводе же этого отвращения Раскольникова к «мечте» почти не чувствуется.

У Достоевского в главе I читаем: «В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью» [2, т. 6, с. 7].

В переводе: «Но он забавлялся мечтой, она была чарующей, обольстительной».

В той же главе Раскольников, видя недоверчивость старухи, думает о ней «с неприятным чувством» [2, т. 6, с. 8]. В переводе эти слова опущены.

Получив от старухи деньги за заклад и выпив в распивочной стакан холодного пива, Раскольников чувствует, как все

мысли его проясняются и «мечта» о преступлении начинает казаться ничтожной и мелкой. «Он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих» [2, т. 6, с. 11]. В переводе эта фраза об «ужасном бремени» опущена, а в следующей внесены очень характерные изменения.

У Достоевского: «Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная» [2, т. 6, с. 11].

В переводе: «Но он чувствовал, что это успокоение может быть временным, неестественным» (с. 10).

То есть если Раскольников Достоевского хочет поверить в свою «восприимчивость к лучшему», хотя и ощущает ее болезненность, то Раскольников в арабском переводе сразу же сознает временность этого состояния.

Обратимся к главе V. Раскольников после встречи с пьяной девочкой на Конногвардейском бульваре собирается пойти к Разумихину, и вдруг, по словам Достоевского, «пришла ему в голову одна престранная мысль» о том, что пойдет к Разумихину после *того*, «когда уже *то* будет кончено». И дальше следует абзац, опущенный переводчиком:

«И вдруг он опомнился.

„После *того*, — вскрикнул он, срываясь со скамейки, — да разве *то* будет? Неужели в самом деле будет?“» [2, т. 6, с. 45].

Раскольникову в арабском переводе вовсе не нужно восклицать: «Да разве *то* будет?» — потому что для него в этом уже нет никаких сомнений.

У Достоевского следует после этого страшный сон Раскольникова о замученной пьяными мужиками бедной деревенской кляче: пьяный Миколка сечет лошадь «по глазам, по самым глазам», забивает ее насмерть, а Раскольников, еще мальчик, «обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в иступлении бросается с своими кулачками на Миколку» [2, т. 6, с. 46—49].

Эта яркая, напряженная сцена превращается в переводе в краткий пересказ событий (строк 15, не более), пересказ бледный, сухой и бесстрастный (с. 50—51).

И еще одна любопытная деталь: в арабском переводе сна Раскольников уже не бросается «с своими кулачками» на убийцу, т. е. протест против зверской жестокости ослаблен.

После страшного сна убеждение в том, что он не сможет совершить убийство, становится у Раскольникова еще более твердым: «Да что же это я!.. Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... *пробу*, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам ска-

зал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли *наяву* стошнило и в ужас бросило...

Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все равно же не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор...» [2, т. 6, с. 50].

А вот что в переводе: «Но он почувствовал, что не в силах размышлять о преступлении, что его душа опасается вспоминать о нем и что ум его с отвращением стремится избежать обдумывания деталей» (с. 52).

Здесь не просто сухой и бесстрастный пересказ вместо мучительного монолога — С. Муса стремится показать не осознание героем, что задуманное им «подло, гадко, низко», а его страх, отвращение к деталям будущего преступления, т. е. совершенно иные чувства.

Отмечу, что, хотя в английском переводе этот монолог несколько сокращен, оценка будущего преступления — «подло, гадко, низко» — в нем сохраняется³.

Далее, у Достоевского большую роль играет случай, «судьба» — неожиданная встреча с Лизаветой на Сенной, встреча, в восприятии Раскольникова роковая, наполнившая его ужасом. После этой подробно описанной в романе встречи Раскольников «всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно» [2, т. 6, с. 52].

Переводчик же кратко пересказывает разговор Лизаветы с мещанином и вскользь замечает: «Судьба привела его в этот же час в эту сторону, чтоб поторопить его и побудить к окончанию своего дела» (с. 52).

Опять никаких мучений, ничего «рокового». Главное, оказывается, в том, чтобы поторопить его, т. е. ускорить уже решенное.

Достоевский описывает лихорадочные, суетливые приготовления Раскольникова, во время которых его «сердце все билось, стучало так, что ему дышать стало тяжело» [2, т. 6, с. 56]. А переводчик спокойно и деловито информирует: «Он еще раньше решил взять из кухни молоток Настасьи, чтоб ударить им, и приготовил себе тесьму под пальто, чтобы привязать к ней молоток и ничего не нести в руках» (с. 57).

На следующей странице опущен еще один важный отрывок, свидетельствующий об отвращении Раскольникова к преступлению буквально до последней минуты: все решения его, связанные с этим, «имели одно странное свойство: чем окончательно они становились, тем безобразнее, нелепее тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение не мог

уверовать в исполнимость своих замыслов, во все это время» [2, т. 6, с. 57].

Этого «раздвоения восприятия» переводчик совершенно не приемлет: все мысли и ощущения Раскольникова перед убийством в переводе однозначны. Приведем еще один характерный пример.

Достоевский:

«Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам *во всем убедится*. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так по крайней мере казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и — просто пойдет туда... Даже недавнюю *пробу* свою (то есть визит с намерением окончательно осмотреть место) он только *пробовал* было сделать, но далеко не взаправду, а так: „дай-ка, дескать, пойду и опробую, что мечтать-то!“ — и тотчас не выдержал, плюнул и убежал в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать» [2, т. 6, с. 58].

Перевод:

«Перед ним не было никаких препятствий. Все нравственные преграды он преодолел с помощью орудий логики и оправданий цивилизованного ума и не обращал на них внимания» (с. 57).

Из всего абзаца выхвачена лишь одна фраза, да и та вне контекста приобретает противоположный смысл.

И дело здесь, очевидно, не просто в стремлении сократить текст вообще, а именно в желании придать одноплановость, однозначность поступкам и переживаниям героя. Характерно, что сама сцена убийства переведена почти без сокращений, опущены лишь некоторые бытовые реалии (описание спальни старухи, укладки и ее содержимого и т. п.) и кое-какие незначительные детали. При этом поведение героя, оставаясь однозначным, несколько трансформируется. Сначала в его ощущениях преобладает страх, и это подчеркивается порой даже резче, чем у Достоевского. Например, когда Раскольников, находясь в спальне процентщицы, вдруг услышал шаги в соседней комнате, он «остановился и притих, как мертвый» [2, т. 6, с. 64];

в переводе добавлена фраза: «...и кровь его заледенела от страха» (с. 63).

После убийства Лизаветы на первое место выступает отвращение к содеянному, неожиданно (если исходить из перевода) охватившее убийцу,—и здесь снова чуть-чуть больше нажима, чем у Достоевского.

Подлинник: «Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждою минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты» [2, т. 6, с. 65].

Перевод: «Душа его чувствовала оскомину от этого преступления, и, если бы даже спальня старухи была набита сверкающим золотом, он бы теперь не вошел в нее из-за отвращения и самоосуждения» (с. 64).

Итак, перед нами два Раскольниковы: Раскольников Достоевского — натура тонкая, впечатлительная, полная внутренних противоречий, человек, истерзавший себя «наполеоновской идеей», и Раскольников Саламы Мусы, который сначала прямо идет к преступлению, без особых мучений и переживаний (поистине «сильная личность», «Наполеон!»), а потом, без всякого перехода, начинает в этом преступлении раскаиваться.

К сожалению, Салама Муса перевел только первую часть романа, и мы не знаем, какую трансформацию претерпел бы у него характер Раскольникова дальше. По первой части ясно: характер упрощен, «спрямлен», прояснен даже для самого неискушенного читателя и тем самым искажен. Такое изображение характера в односторонней, одноплановой данности находится в полном соответствии с эстетическими требованиями просветительской эпохи. Салама Муса, противопоставивший в свое время образное мышление реалистической литературы откровенной назидательности литературы просветительской, вольно или невольно сам оказался у этой литературы в плену, подчинился ее законам: обогнав, как мы отмечали, свою эпоху, он все же не смог оторваться от нее полностью.

Если принять во внимание, что в просветительской литературе схематизм, одноплановость характеров, как и прочие свойства структуры произведения, направлены обычно на раскрытие определенной философской или этической коллизии [10, с. 22], подчинены определенной тенденции, то неизбежно возникнет вопрос, какова же тенденция здесь, у Саламы Мусы: стремится ли он к разоблачению тянувшейся к ниществу «наполеоновской идеи» или, наоборот, отдает ниществу последнюю дань, ведь в Европе многие модернистские критики в конце XIX в. видели в романе «Преступление и наказание» апологию «сверхчеловека» [2, т. 7, с. 360].

Очевидно, вернее предположить первое: недаром С Муса сохраняет в переводе все сказанное об отвращении Раскольникова к преступлению после его совершения. Вспомним к тому же, что увлечение идеями Ницше у С. Мусы было кратко-

временным. Г. Хёпп подчеркивает, в частности, что Ницше «пленил мысль и сердце этого сердитого молодого человека» лишь «на мгновение» [12, с. 281, 282]. А за год до перевода «Преступления и наказания» С. Муса опубликовал книгу «Социализм», в которой явно ощущается влияние Маркса и учения фабианского социализма [3, с. 163], т. е. от Ницше он уже отошел. И, может быть, в этом отходе арабского писателя от Ницше свою роль сыграло и знакомство его с «Преступлением и наказанием».

Интересно отметить также, что в этом предполагаемом «выступлении» против ницшеанства С. Муса был не одинок: в 1915 г. появляется повесть «Покинувшая гарем» одного из первых арабских романтиков, известного ливанского писателя Амина ар-Рейхани, также развенчивающая «сильную личность» («die blonde Bestie»), которой будто бы «все дозволено».

Таким образом, в арабскую литературу Достоевский вошел впервые не как великий психолог, познавший все тонкости человеческой души, ибо к такому восприятию ни арабская просветительская литература, ни арабская читательская среда еще не были подготовлены. Он должен был войти в арабскую литературу прежде всего как носитель великой гуманной идеи, если бы перевод С. Мусы был выполнен до конца.

Примечания

¹ Достоевский Ф. Аль-Джарима ва-ль-икаб. Каир, [1914]. Далее ссылки на это издание перевода. Дату издания указывает К. Брокельман: С. Groskelmann. Geschichte der arabischen Litteratur. 3 Suppl. Bd. Leiden, 1941, с. 214.

² Миллим — самая мелкая египетская монета.

³ What am I thinking of? I know well I could not endure that whith I have been torturing myself. I saw that clearly yesterday when I tried to rehearse it. Perfectly plain. Then what am I questioning? Did I not say yesterday as I went up the stairs how disgusting and mean and low it all was, and did not I run away in terror?

Литература

1. Гус М. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. М., 1962.
2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти т. Т. 6, 7. Л., 1973.
3. Коцарев Н. К. Писатели Египта. XX век. Материалы к биобиблиографии. М., 1976.
4. Левин З. И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и Египте (новое время). М., 1972.
5. Аль-Мунтахабат аль-асрийя лидарс аль-адаб аль-арабийя (Избранные современные отрывки для изучения арабской литературы). М., 1949.
6. Муса С. Кысас мухталифа (Статьи). Каир, 1927.
7. Муса С. Ат-Таскиф аз-зати ау кяйфа нурабби анфусана. (Воспитание самого себя). Каир, 1947.
8. Нестеров Ф. Ф. Идеинные истоки творчества С. Мусы.— «Ученые за-

- писки Института международных отношений». Вып. 13. Серия историческая. М., 1963.
9. Писарев Д. И. Полное собрание сочинений в 6-ти т. Т. 6. СПб., 1894.
 10. Проблемы Просвещения в мировой литературе. Сб. статей. М., 1970.
 11. «Роз аль-Юсуф». 1957, № 1530.
 12. Хёп Г. К вопросу об истории социалистической мысли в арабских странах.— История и экономика стран Арабского Востока. Сб. статей. М., 1973.
 13. Dostoyewsky F. Crime and Punishment. Introduction by Laurence Irving. L.—N. Y., 1911.